

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЕТЕКТИВА

Донатто КАРРИЗИ

ЖЕНЩИНА С БУМАЖНЫМИ ЦВЕТАМИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА»

Annotation

Новый роман Донато Карризи, кумира европейских любителей детектива, «Женщина с бумажными цветами» стал неожиданным открытием.

Гора Фумо в итальянских Альпах, превратившаяся в ледяной собор, стала театром решающего сражения холодной весны 1916 года. Но эхо боевых действий не проникает в пещеру, где друг против друга сидят эти двое. Они курят и молчат. Один – пленный, который будет расстрелян на рассвете, если не назовет свое имя и звание. Другой – военный врач, у которого есть лишь эта ночь, чтобы убедить узника заговорить. Врач еще не знает, что рассказ пленного навсегда изменит его собственную судьбу. Потому что жизни этих людей, которые должны быть врагами, на самом деле связаны между собой.

Впервые на русском!

Донатто Карризи

Женщина с бумажными цветами

Donato Carrisi
LA DONNA DEI FIORI DI CARTA
Copyright © Longanesi & C., 2012 – Milano
All rights reserved

© О. И. Егорова, перевод, 2018
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®

* * *

Посвящается Даниэле Бернабо

*История, которую вы прочтете на этих страницах, правда.
Все остальное – вымысел.*

В ту ночь, когда трансатлантический лайнер «Титаник», не завершив своего первого рейса, пошел ко дну, один из пассажиров спустился к себе в каюту первого класса, надел смокинг и вышел на палубу.

Вместо того чтобы попытаться спастись, он закурил сигару и стал дожидаться смерти.

Когда у выживших пассажиров спросили, кто был этот таинственный человек, все сошлись во мнении, что его звали Отто Фойерштайн, он был торговцем тканями, путешествовал один и это была деловая поездка.

Однако никому из них тогда не сообщили ту любопытную деталь, что на самом деле Отто Фойерштайн умер в Дрездене, в собственном доме, в своей постели. За два дня до крушения «Титаника».

Гигантский ледяной собор.

Якоб Руман разглядывал гору, укрывшись за стенкой траншеи. На этом вечном леднике хоронили мертвых. Скалы были слишком твердыми, чтобы долбить в них могилы. Но в этом была и положительная сторона: тела, погребенные во льду, могли сохраняться хоть миллионы лет.

Он останется молодым навсегда, промелькнуло у Якоба в голове, когда он ласковым движением закрывал глаза солдату, которому не удалось уйти от пули. Сколько ему? Восемнадцать, девятнадцать? Якоб Руман повернулся к тазу с водой и окунул испачканные кровью руки. Вот уже пару часов, как стрельба прекратилась. Сколько продлится затишье?

– Проклятый ледник, – проворчал он.

Он надеялся, что на холоде кровотечение у раненого остановится или хотя бы замедлится. Напрасно надеялся. Без лекарств, со старым, неполным комплектом хирургических инструментов он не смог спасти мальчика, и тот истек кровью. Да даже если бы и смог, что толку? Тех, кто выздоравливал, опять отправляли на передовую. Он ставил раненых на ноги, чтобы те снова шли кого-то убивать или сами попадали под пули. Хорошенькое дело! В конечном итоге выходило, что и он тоже работал на жалованье у матушки-смерти.

«Я словно клоун, которого Господь поставил в самой середине апокалипсиса», – говорил он себе.

Все, что творилось вокруг, не имело ни малейшей логики. На дворе стояла весна, а здесь она казалась зимой. Ее называли Мировой войной, но, по сути, дерьмо оно и есть дерьмо. Подающее надежды поколение австрийцев, лучшие сыны отечества дошли до этих гор, чтобы их разнесло в клочья во имя будущего, которого они, может, никогда и не узнают. Якоб Руман видел, какими прибывали сюда эти мальчишки: в глазах светлые идеалы, в крови гормоны. А через неделю, проведенную в окопах, они уже выглядели испуганными и озлобленными стариками. Итальянцы по ту сторону фронта тоже были хороши: их, скверно экипированных, без военной подготовки, вели вперед идеи воссоединения Италии. Сыновей толкала потребность соперничать с отцами, им хотелось выкроить себе роль в Истории. И им даже в голову не приходило, что после этой войны придет другая и История о них позабудет.

А он? Он-то что здесь делает? Этот вопрос он задавал себе все чаще и чаще.

Четырнадцатого апреля ему исполнилось тридцать два года, и он отдавал себе отчет, что самым вопиющим парадоксом является он сам. «Я просто какой-то оксюморон □ ходячий», – часто повторял он себе.

Якоб Руман, военный врач.

Он все ждал, что среди этого всеобщего бреда среди измученных усталостью и страданиями людей найдется хоть кто-нибудь, пусть даже один, кто вылезет из окопа и крикнет, что все это просто-напросто глупость. Может, тогда чары разрушатся, все осознают собственное безумие и вернуться в свои города, к своим семьям.

Якобу Руману возвращаться было не к кому. Жена ушла от него к другому, сообщив об этом в коротком, в несколько строк, письме. Оно было написано восемь месяцев назад, а получено на прошлой неделе. Он целых восемь месяцев верил, что его любят, и все это время страстно желал оказаться в постели в своей венской квартире. Чтобы увидеть в прихожей

домашние тапочки, чтобы маятник часов дирижировал симфонией тишины, когда он уляжется с книгой. И если удастся пережить эту войну, то наградой будет не то, что он жив, а то, что сможет вернуться домой.

Среди горных вершин прогремел выстрел из гаубицы, установленной на доломитовом склоне, где засели итальянцы. Якоб Руман вздрогнул, очнувшись: передышка закончилась. Пройдет несколько секунд – их часть ответит на выстрел, и военная машина снова медленно придет в движение. Это была пристрелка перед грядущей бессонной ночью. Он где-то читал, что из-за постоянного напряжения солдаты не могут спать. И для них единственный способ уйти от реальности – это умереть.

Якоб Руман посмотрел на мальчика, который только что дышал под его руками. Он не желал знать имен своих раненых, они его не интересовали. Он их забывал, как забывал их лица и причины, по которым они уходили.

Он хранил о них другие сведения.

Порывшись в кармане, он вытащил черную записную книжку-календарь за 1916 год со страницами, запачканными кровью и ружейной смазкой. Пролистав ее до даты 14 апреля, он карандашом занес очередную запись в список, который заполнял почти всю страницу.

20.07. Простой солдат: «Кажется».

Едва он кончил писать, как за дверью раздался характерный стук ботинок сержанта. Тот наверняка явился, чтобы передать, что его вызывает майор.

– Доктор, пожалуйста, следуйте за мной, – начал он, даже не поздоровавшись. – Вы очень нужны.

– В самом деле? И кому же на этот раз я должен спасти жизнь? – спросил Якоб Руман, не без иронии покосившись на труп юноши.

Сержант ответил без малейшего сарказма:

– Неприятелю.

Майор принял его, повернувшись спиной: он брился. Ординарец держал перед ним осколок зеркала. Бедняга дрожал от холода, но старался не дергать руками, чтобы не рассердить старшего офицера.

Майор, стоя в одной рубашке и не обращая внимания на холод, подравнивал краешек острой бородки. Он велел разместить свои вещи в углу траншеи, где до недавнего времени обитал подполковник, которого неприятель взял в плен, устроив засаду. Там стояла раскладушка, печурка, а сверху был защитный настил из бревен.

Сержант и Якоб Руман остановились на пороге маленького узурпированного владения. Никто не осмеливался помешать туалету офицера, на данный момент бывшего самым старшим по званию.

Боясь окоченеть от излишнего служебного рвения, доктор решил больше не тянуть:

– Вызывали, господин майор?

Не оборачиваясь и не отводя бритвы от лица, старший по званию наконец заговорил:

– Доктор, вам известно, в чем состоит главное достоинство военного?

Якоб Руман с трудом удержался, чтобы в раздражении и гневе не поднять глаза к небу. Ну почему всякий раз, когда майор отдавал какой-нибудь приказ – пусть даже вынести парашу, – он предварял его коротким нравоучением? Он что, не мог сразу изложить суть дела? Или на войне ему время некуда девать?

– Нет, господин майор, я не знаю, в чем состоит главное достоинство военного.

Он прекрасно знал, что тот скажет: «Дисциплина».

И майор с удовлетворением изрек:

– Главное достоинство – это дисциплина.

«Ну да, вот именно», – сказал себе Якоб Руман.

– И от самих себя мы требуем прежде всего дисциплины. Иначе как сможет настоящий командир требовать ее от своих подчиненных? Именно поэтому я всегда появляюсь перед рядовым составом в наилучшем виде. Уход за собой – дело важное. Мои сапоги всегда должны сверкать, на форме не должно быть ни пятнышка. И знаете почему?

Времени на ответ он собеседнику не дал:

– Потому что, если бы я, ссылаясь на обстоятельства, себя запустил, это сломало бы волю моих солдат.

– Вы являетесь собой прекрасный пример. Благодарю вас, господин майор.

Якоб Руман слишком поздно заметил, что в его голосе проскочила едва заметная нотка сарказма.

Майор в зеркале метнул на него недобрый взгляд. Тон его сразу стал строгим:

– Неприятель два дня назад преподал нам жестокий урок.

Якоб Руман давно пришел к выводу, что эта война какая-то странная. На высокогорном фронте бои шли только весной и летом. Всю зиму они провели в траншеях, в изнурительном ожидании, удерживая отвоеванные позиции. Австрийцы контролировали вершины Доломитовых Альп, а итальянцы пытались ими завладеть и потому воевали со стратегическим преимуществом. Но неприятель не стал дожидаться смены времени года, чтобы возобновить военные действия; 12 апреля, в снежный буран, итальянцы неожиданно ринулись в смертоубийственную атаку, прорвав оборону австрийцев. Атака была невероятно

точно рассчитана, и солдаты тысячами хлынули на австрийские рубежи, намереваясь их смять.

– Мы потеряли солидную часть наших укреплений, – отчеканил майор, словно так было надо. – У нас остались только эти позиции. Последний оплот Австрии здесь, на Монте-Фумо, на Дым-горе.

Сия высокопарная речь была прелюдией к сути вопроса. И Якоб Руман очень быстро понял, зачем его позвали и что был за неприятель, которого, по словам сержанта, надо было спасти.

Он даже представить себе не мог, как с этой минуты изменится его собственная жизнь.

Когда судьба решает изменить ход нашей жизни, она нас об этом не предупреждает. Так будет думать в последующие годы Якоб Руман.

Рок не заботится о том, чтобы оставить указания.

И не бывает никаких примет или для тех, кто нуждается в мистических определениях, – знаков. Что-то происходит – и баста. А когда происходит, то проявляется как внезапная пауза, как цезура в стихе. И потом всю жизнь ты вынужден различать: вот это было до, а это – после.

Потом, снова возвращаясь мыслями к этому переломному моменту, когда через несколько минут должно было случиться событие, которое изменит все, Якоб Руман будет испытывать доброе чувство, сродни тому, что возникает при встрече с детским простодушием. И еще ностальгию, потому что, в отличие от скверных событий, события прекрасные происходят только однажды и потом остается горечь.

Майор отложил бритву и отер лицо полотняной салфеткой. И пока ординарец помогал ему надеть китель, пояснил:

– Нынче ночью мы перехватили патруль альпийских стрелков, который вел разведку на южном склоне. Была короткая перестрелка, но в конце концов мы их взяли. Их пятеро.

– Мои комплименты, господин полковник, – поддержал разговор доктор, пытаюсь понять, какая роль уготована в этой истории ему. – Есть раненые? Вы хотите, чтобы я к ним заглянул, прежде чем их отправят в лагерь для военнопленных?

– Это исключено. Мы должны продемонстрировать итальянцам и своим солдатам нашу силу. А потому на рассвете пленных расстреляют как шпионов.

Якоб Руман понял, и его затошнило от отвращения. Но он постарался сдержаться и рискнул:

– Вы хотите, чтобы я освидетельствовал их и дал заключение, что они своими ногами дойдут до расстрельной команды?

– Перестаньте, они абсолютно здоровы, – раздраженно бросил майор.

«Тогда какого черта тебе нужно от меня?» – подумал Якоб Руман.

– У нас есть подозрение, что один из них – офицер: похоже, остальные подчиняются его приказам. Но уверенности у нас нет, потому что на его форме отсутствуют знаки отличия.

– Не понял. Вы хотите выпытать у него информацию?

– Он тип неприятный. Вряд ли он заговорит.

Якоб Руман, напротив, был уверен, что майор его допрашивал достаточно долго, только ничего не добился.

– Так каков будет план?

– Мы попытаемся обменять его на нашего пленного офицера.

– Полагаю, вы говорите о господине подполковнике.

Доктор раскусил великолепный замысел майора: если удастся освободить подполковника, он заслужит похвалу, а может, и повышение по службе.

– Вы предлагали это итальянскому офицеру?

– Конечно! Но этот идиот продолжает настаивать, что он простой солдат. Жаждет роли героя и хочет, чтобы его расстреляли вместе с его отрядом.

Он выдержал эффектную паузу и уставился своими злыми глазками прямо в глаза Якобу

Руману.

– А потому вы обязаны убедить его сознаться, что он офицер.

Теперь доктору все стало ясно: ему предлагали договор, по которому некоторая выгода ожидает и его.

Майор вплотную приблизил к его лицу свой огромный нос, так, чтобы ни сержант, ни ординарец не услышали конец разговора.

– Для мужчины, у которого увели жену и уважение к которому пошатнулось, было бы весьма почетно вернуться в Вену с медалью... Это заставило бы умолкнуть злые языки.

Медоточивый тон и нестерпимо жаркое, несвежее дыхание майора делали его слова еще более оскорбительными. Якоб Руман не подал виду, словно его честь никак не была задета.

Он спокойно спросил:

– Почему именно у меня это должно получиться?

– Я узнал, что вы владеете его языком. Это так?

Но Якоб Руман не дал сбить себя с толку и снова спросил:

– Почему именно я?

Майор ответил с презрительной гримасой, на этот раз громко, чтобы все слышали:

– Потому что на солдата вы не похожи.

Он потребовал, чтобы ему принесли банку кофе, который входил в допнаек майора. Тот не должен был рассердиться, учитывая, что кофе может понадобиться для сближения с пленным. Сверх этого он разжился двумя металлическими кружками и велел набить свежим снегом кувшин. К угощению прибавился кусочек сала, черный хлеб, несколько твердых как камень анисовых печенинок, папиросные гильзы^[2] и табакерка.

Собирая вместе все полученные сокровища, доктор раздумывал над тем, что скажет итальянцу. Он уже понял, как начнет, но дальше этого дело не шло, никаких мыслей не появлялось. Но хотя он сразу решил не ублажать майора, который считал его глупым и бездарным, ему постепенно удалось убедить себя в том, что справиться с задачей – его собственное желание. И вовсе не из-за медали, потому что он был уверен, что медаль никак не поправит его репутацию отвергнутого мужа и человека теперь неполноценного. Была еще причина, которая более других заставляла его согласиться.

Ему хотелось спасти хоть одну жизнь в этом круговороте смертей.

«Я могу выходить солдата, иногда вылечить окончательно, – говорил себе Якоб Руман. – Но этим я просто отсрочиваю его судьбу и, быть может, сокращаю жизнь кому-нибудь другому». Ему никогда не представлялась реальная возможность предотвратить чью-то смерть, а всегда доставалась роль простого исполнителя приказов, все действия которого заранее распланированы, и он ничего не может с этим поделать. Так рабочий на монтажном конвейере не может повлиять на конечный результат своей работы.

А теперь он мог что-то изменить. По крайней мере одну вещь.

Якоб Руман отправился к пещере, где держали итальянца, с весьма слабой надеждой на успех. В руках он нес все, что ему удалось раздобыть. Металлические кружки при каждом шаге звякали друг о друга и о кувшин. Доктором овладела странная эйфория.

Он узнает, кто такой этот итальянец.

Вход в пещеру был замаскирован тяжелой зеленой тканью. Представившись караульным солдатам, Якоб Руман отодвинул завесу и вошел в пещеру, сразу опустив ее за собой. Возникший за его спиной ветерок пошевелил ткань, огонек керосиновой лампы на несколько секунд задрожал, и вокруг зашатались тени. В пещере имелся стол и пара ломаных стульев, громоздились деревянные ящики с запчастями для тяжелой артиллерии. Пахло сыростью и плесневелой соломой. И стояла полная тишина.

Прошло несколько секунд, прежде чем доктор его разглядел.

Пленный неподвижно сидел в глубине пещеры на земле, скорчившись и привалившись к скале. Слабый желтоватый свет лампы позволял увидеть только переплетенные пальцы рук и грязные ботинки. Все остальное едва угадывалось в полутьме.

Первым делом Якоб Руман освободил руки и расставил на столе принесенные с собой подношения.

– Добрый вечер, – сказал он на великолепном итальянском.

Пленный не ответил.

Доктор не обратил внимания и продолжал:

– Думаю, вы проголодались, я тут принес кое-что перекусить. И еще кофе. Могу вам чистосердечно признаться, что он стал главной причиной, по какой я пришел с вами поговорить. Я уже почти два года кофе в глаза не видел.

Пленного эти слова, казалось, не тронули. Руман не обольщался, чего-то подобного он ожидал. Он уселся на стул и с превеликим терпением снял с керосиновой лампы абажур и поставил на нее кувшин, чтобы снег растаял на огне. Когда вода закипела, он бросил в кувшин пару ложек кофе, размешал и разлил напиток по кружкам. Потом взял свою и, держа ее обеими руками, втянул запах, чтобы насладиться им, прежде чем начать пить.

– Мой командир меня презирает. Думаю, он выбрал меня, потому что я такой, какой есть: обыкновенный врач, которого забрили на войну. Может, мне не хватает дерзости, чтобы эту войну понять. Кто знает... Думаю, поэтому в голове у моего командира и зародилась мысль послать к вам именно меня. Он человек заурядный, без размаха, и решил, наверное, что вы легче раскроетесь, если окажетесь перед человеком штатским.

Снова никакой реакции со стороны итальянца.

– Уверен, вас это удивит, но при полном отсутствии у меня уважения к командиру я надеюсь, что он прав. Сказать по правде, я уже больше не могу видеть, как из-за какой-то ерунды гибнут люди и с той, и с другой стороны.

Якоб Руман следил глазами за дымком, что поднимался от кружки пленного, который, однако, не снизошел до того, чтобы взять ее в руки. Хорошо бы еще увидеть в полумраке его лицо, но даже дыхания его не было слышно.

– Кто вы? – продолжал Руман, конечно не ожидая ответа. – Я спрашиваю потому, что теперь я ваша последняя надежда. Поскольку я врач, вы лишаете меня деонтологически^[3] отведенной мне роли. Но я уже устал быть последней надеждой для всех и каждого. Получается, что после меня – только Бог. Понимаете, какая на мне ответственность?

Якоб Руман замолчал: ему показалось, что пленный улыбнулся. Ясное дело, он не мог разглядеть эту улыбку.

Может, это был всего лишь мираж – не тот, что возникает при ярком солнце, а мираж

сумеречный. Да, в полумраке, окружавшем голову пленного, явно что-то изменилось. По нему словно пробежала легкая рябь. Значит, можно продолжить, одобрение получено.

– Ваше имя в обмен на жизнь не кажется мне таким уж неразумным бартером. В сущности, надо ответить всего на один очень простой вопрос.

Он старался выдержать иронический тон, ибо понял, что ирония может стать ключом к этому человеку.

– Вы вернетесь к своим однополчанам, а я получу медаль. Ну, давайте, смелее... Мне не хочется, чтобы этот день запомнился таким, у меня и без того хватает скверных воспоминаний. А вам наверняка не хочется умереть здесь, на Монте-Фумо. К тому же сегодня мой день рождения.

– Их три.

Голос пленного застал доктора врасплох. Такого он не ожидал. Пленный заговорил. Из темноты возник теплый, проникновенный голос.

– Что вы сказали? Боюсь, я вас не совсем понял.

– Три, – повторил пленный. – Вопросов три.

– Почему именно три? – быстро переспросил Руман, как рыбак, который чуть потравливает леску, боясь упустить клюнувшую рыбку.

– Потому что без двух остальных тот, что вас интересует, не имеет смысла.

Якоб Руман не понял, куда он клонит.

– Если дело только в этом, то мы быстро все уладим! Скажите, сколько вопросов я должен еще задать, и я задам.

– Я вижу, вы принесли табачку.

Якоб Руман опустил взгляд на стол, где стояла шкатулка с табаком и коробка с гильзами.

– Вот что мы сделаем. Давайте заключим договор, – сказал пленный. – Вы дадите мне закурить, а я вам все расскажу. У вас есть настроение выслушать историю?

Непонятно было, нет ли тут обмана, однако итальянец явно что-то замыслил. Но Руман открыл табакерку, где табак из экономии был смешан с опилками, и принялся набивать гильзу.

– То, что вы меня выслушаете, – условие неперемное, – продолжал пленный. – Вы готовы?

– Я выслушаю вашу историю. Но ответ потом получу?

– Получите.

– Даете слово?

– Даю слово.

Якоб Руман встал, подошел к итальянцу и передал ему папиросу и коробок спичек.

Тот протянул руку за подношением, словно скрепляя договор торжественным рукопожатием. Потом чиркнул спичкой по камню возле себя и, заслонив драгоценный огонек ладонью, поднес его к губам. При этом в желтый кружок света попала часть его лица: длинная борода, морщины вокруг глаз и орлиный нос. Больше ничего было не разглядеть.

– Эта история начинается со спички, – сказал итальянец. – Она такая же кроткая и хрупкая, как спичка, да как, впрочем, и история каждого из нас.

Он задул огонек, и его лицо исчезло за струйкой дыма.

– Вот так темный дух поднимается к небу и исчезает в сладковатом запахе. А в табаке еще с минуту остается воспоминание о нем.

Якоб Руман вернулся за стол:

- Так что там за три вопроса?
- Кто такой Гузман? Кто такой я? И кто был человек, закуливший на «Титанике»?

Итак, по порядку. Кто такой Гузман?

Есть такие люди, которые здорово умеют что-то делать. Например, в Ноэле был один такой, он удерживал в равновесии трость на кончике носа. Дети волжских рыбаков плавать учатся раньше, чем говорить. Гарко Варгас умел уворачиваться от ножей. Все жены Гарко Варгаса знали толк в метании ножей.

Глядя на этих людей, спрашиваешь себя, откуда берется их талант. И почему у них он есть, а у тебя – нет.

Так вот, Гузман тоже кое-что умел.

Куришь.

Вечно желтые руки, живые, быстрые глаза... Вот он, что-то бурча себе под нос, прикусывает зубами ароматизированную сигарку, которую сам только что свернул точными движениями тонких пальцев, смоченных маслом. Сигарки, нетерпеливо дожидаясь огонька, лениво бормочут у него в зубах, и он сразу становится похож на паровоз.

Иногда он курил темный табак, бережно заворачивая его в синеватую бумагу от сахарной упаковки, мягкую, как шелк, и горящую, как порох. А иногда затягивался длинными, очень тонкими сигаретами цвета слоновой кости, похожими на бесформенные и тощие женские тела, про которые обычно говорят: не то мужик, не то баба.

Но дело было не только в самом действе. Дело было в том, чем это действо сопровождалось. В нем всегда таилось чувство, тот самый короткий электрический разряд, что пронизывает все и сразу. Ибо все, что курил Гузман, имело свою историю. И, предаваясь действу, он эту историю оживлял, повторял, а иногда и рассказывал.

Он пробовал чувства на вкус и сам очень возбуждался и волновался.

– А какое отношение все это имеет к делу?

– Минутку, я уже подхожу к сути, – ответил пленный.

Гузману было двенадцать лет, когда мать решила перевезти его в Марсель. Они поехали следом за отцом.

Когда родители были молоды, отец почти десять лет ухаживал за матерью, но она его не желала знать и упорно отвергала. Ей не нравилось, как он выглядел, как держал себя, не нравился цвет его глаз. Казалось бы, мелочь, но для некоторых цвет глаз – деталь жизненно важная.

Тебе в эти глаза смотреть до конца дней, а глаза тех, кого мы любим, – это наше зеркало. Чего только не перепробовал отец Гузмана, чтобы убедить ее, что он и есть мужчина, предназначенный ей судьбой. Он каждый день присылал ей розу. Он писал ей длиннющие письма, полные восхвалений, заказывал поэтам стихи для нее. Но никакие романтические жесты на нее не действовали. Пока он не сделал одну вещь, которую до сих пор еще не опробовал.

Он взял и перестал за ней ухаживать.

И в один прекрасный день она не получила свою обычную розу. За целую неделю почтальон не принес ни одного письма. А стихи, которые говорили только о ней одной, наверное, стала получать другая женщина.

Мать Гузмана стала задаваться вопросом, что послужило поводом для такой странной капитуляции. И начала страдать. Без этого назойливого романтизма она осиротела. А потом ощутила, что он вошел в скучное однообразие ее дней и безмолвно довел ее до того, что она в него влюбилась. И тут вдруг оказалось, что цвет его глаз не так уж важен, девушка поняла, что не может без него жить.

Настойчивость принесла свои плоды. В конце концов она согласилась выйти за него замуж и родить ему сына.

Когда же в один из февральских дней он ушел из дома, не сказав ни слова, она поклялась Гузману, что найдет его и приведет обратно.

Она была женщина обстоятельная и упрямая.

Так они и начали ездить за отцом. Они обнаружили его в Турине, но едва он узнал, что жена и сын в городе, как сразу же уехал. Они снова вышли на его след, на этот раз разминулись с ним на несколько часов, в Брюсселе. Во Франкфурте они его почти настигли, в Лондоне, можно сказать, едва с ним не столкнулись. И так по всей Европе.

Во всех обиталищах мужа, брошенных в спешке, мать Гузмана обнаруживала следы присутствия другой женщины. Однажды это был фуляровый платок, в другой раз пустой флакон из-под духов. Забытое в шкафу вечернее платье. След помады на наволочке.

Она не могла узнать, как выглядит та, которую предпочли ей, что доводило ее до иступления. И это наваждение было сильнее ярости брошенной женщины.

Со временем он все более искусно заметал следы. Но и мать Гузмана тоже поднаторела в своем преследовании. Она научилась предугадывать все его перемещения, как охотник предугадывает движения дичи.

Всякий раз, когда они приезжали в новый город, они находили крышу над головой, и поиски продолжались. Женщина выработала свой способ быстро собирать информацию. А Гузман поступал в новую школу, обзаводился новыми друзьями. Но долго это не продолжалось. Месяц, два, а потом все начиналось заново.

В самом начале этой охоты на человека Гузману было лет семь-восемь, и он мало понимал, что происходит. На самом деле он воспринимал все это как какую-то игру. Ему казалось, что это просто фантастически здорово: менять дома, города, друзей чуть ли не каждый день. Он не чувствовал себя не таким, как все дети. Но так было раньше.

А вот в Марселе все изменилось.

Мать и сын отправились в этот город, потому что о беглеце стало известно, что он уехал на юг Франции. Как я уже говорил, в то время Гузману было двенадцать лет. Он вошел в странный возраст, полный таинственных порывов, смутных инстинктов и неудовлетворенного любопытства. Все это вместе обычно очень нуждается хотя бы в присутствии фигуры отца. И главный объект интереса мальчика был таким же странным. До последнего времени он даже не представлял себе, насколько объект станет притягателен.

Женщины.

Любовница отца, та самая соперница, образ которой мать, как из кусочков мозаики, составила из обрывков воспоминаний о скитаниях по Европе, наверное, могла бы стать ценным источником ответов на вопросы, волновавшие юного Гузмана.

Но истинное вдохновение снизошло на него, когда он открыл туманную пещеру Мадам Ли.

Однажды весенним вечером Гузман брел по бульвару Канебьер в сторону старого порта. Ему нравилось вот так шататься без дела. В голове роились тучи мыслей, но, как бывает в юности, он пока еще не знал, что с этим делать.

Мыловаренные заводы выбрасывали в небо клубы дыма, и ветер сносил их в эту часть города. В воздухе стоял густой и сильный запах. Надвигалась непогода. Дождь пошел, когда на горизонте еще победно сияло солнце. Капли были тяжелые и теплые. Гузман протянул ладонь и обнаружил, что они вязкие на ощупь. Он подумал, что это из-за тех клубов дыма: с дождевой водой мешались пальмовое масло, масло копры и сода. Довольно скоро улица покрылась пеной. Такое в Марселе случалось довольно часто. Телеги, запряженные лошадьми, забуксовали, несколько прохожих плюхнулись на землю, и Гузман, подгоняемый юношеским безрассудством, решил, что такой случай упускать никак нельзя. Он разулся, рассчитал разбег и уже готов был стартовать, но тут поднялся ветер. Задул жаркий сирокко. Его порывы пробили брешь в пелене дождя. Гузман остановился, над его головой вдруг пролетел надутый ветром белый призрак.

Видение было кружевное. Женские панталоны.

Зачарованный таким призывом, он пошел за видением. Стараясь не потерять из виду соблазнительного проводника, он с широкой улицы свернул в какие-то закоулки. Но его ни на минуту не покидала уверенность, что призыв был адресован только ему одному. Пока метрах в десяти от него, из-за каменного забора какого-то закрытого двора, не высунулась палка и не перехватила предмет туалета. Гузман быстро влез на забор и заглянул во дворик.

Он увидел настоящую паутину натянутых веревок, на которых сушилось белье: двор располагался прямо за прачечной. Палку и пойманный интимный предмет туалета, за которым Гузман добежал до двора, держала в руках тоненькая, как ниточка, женщина в красном шелковом платье. Ее черные как смоль волосы были забраны в узел. Она обернулась, словно знала, что у нее за спиной на заборе сидит мальчишка. Это была китаянка.

– Панталоны вечно норовят удрать, – сказала она. – Но потом всегда возвращаются.

Гузман не знал, что ответить, а потому просто кивнул.

– Рубашки, те куда благовоспитаннее. Гетры очень застенчивы, а вот крахмальные воротнички ужасно ленивы, – прибавила женщина.

Голос у нее был звонкий, но поминутно сваливался в какую-то глубокую пропасть, становясь неожиданно густым басом. В ней словно жили два голоса: один мужской, другой женский.

Юный Гузман принялся разглядывать овал лица прекрасной представительницы Востока. Дождик смыл часть густого грима, из-за которого глаза, губы и скулы казались нарисованными. И из-под них выглянула густая темная щетина.

– Ну так как, хочешь поработать рассыльным? – предложила ему Мадам Ли, знаменитый марсельский гермафродит.

Прачечная Мадам Ли – единственная в своем роде преисподняя, где пары пахли не серой, а ванилью, – пользовалась в городе огромным успехом. Богатые марсельцы были довольны, что в курсе их позорных беспутств именно гермафродит. И мужчины, и женщины подсознательно рассчитывали на понимание Мадам Ли: ведь она принадлежит к обоим полам, а значит, не станет их осуждать. Их грязное белье было в хороших руках.

Рассказывали, что это странное существо родилось в крестьянской семье, в захолустной китайской деревне. Для тяжелых полевых работ требовались мужские руки, а потому в деревне существовала традиция младенцев женского пола просто уничтожать. Чаще всего их топила в тазу акушерка, принимавшая роды. Но родители Мадам Ли спасовали, оказавшись перед лицом такой шутки природы. И их сомнения оказалось достаточно, чтобы спасти ребенку жизнь.

Ходили слухи, что в Европу ее привез какой-то бельгиец, поставлявший цитрусовые для парфюмеров. Он случайно наткнулся на девочку, переезжая с места на место в тех краях, и ему не стоило больших трудов уговорить отца, который относился к ней как к загадочному божьему наказанию, продать ее.

Говорили, что бельгиец сделал ее главным аттракционом в модном парижском кабаре. Кроме того, злые языки утверждали, что в Марсель ее привела параллельная, по взаимному согласию, страсть к местному магистрату и к его жене. Мадам Ли прекрасно чувствовала себя в сложившемся любовном треугольнике, ибо это соответствовало ее природе. Но пара, поначалу запутавшись в двусмысленной игре, быстро возжелала каких-то исключительных, нереальных ощущений. Поскольку ни один из двоих не мог заполучить удивительное существо только для себя, они стали врагами. Дело кончилось тем, что супруги поубивали друг друга.

Но я ведь уже говорил, что это все сплетни, извечное стремление людей приписывать кому-то свои собственные извращения.

Зато я могу с уверенностью утверждать, что в жизни Гузмана это был единственный случай, когда он работал. И работал не за те гроши, которые получал в качестве чаевых, разнося по домам клиентов чистое белье, а за возможность с этим бельем контактировать.

Предметы интимного женского туалета – это целый мир запретных ароматов, это запах дичины, и стоит только закрыть глаза, как воображение пускается в путь. Мальчишке открылся доступ к животному компоненту человеческой натуры. Неумную юношескую фантазию подхлестывали воображаемые сцены совокуплений и тайных наслаждений.

Он приобретал странный опыт грешить посредством обоняния.

Гузман с такой радостью втянулся в эту новую реальность, что начал опасаться, как бы мать не решила в очередной раз утащить его куда-нибудь. В последнее время непрерывная охота превратилась для них в способ существования. Но пока Марсель был последним местом, где видели его отца, а потому он не волновался.

Однако вся эта безмятежность рухнула в тот день, когда Мадам Ли вложила ему в руки пакет из веленовой бумаги. В нем лежало вечернее платье из шелка-сырца. Пакет надлежало отнести некоему господину средних лет, имя которого ему было хорошо известно. Даже слишком хорошо, хотя он и не мог припомнить откуда.

И вот с этим грузом – и с другим, гораздо тяжелее, что давил на сердце, – Гузман

отправился по улицам Марсея к указанному адресу. За все те годы, что он следовал безумной затее матери, он никогда по-настоящему не интересовался, где же его отец. С ней он никогда об этом не говорил: боялся, что будет только хуже. Просто следовал за ней, и все.

Но теперь он сделал открытие, которое ему делать вовсе не хотелось. Он обнаружил место, где скрывались человек, благодаря которому появился на свет, и его любовница.

По дороге в Эстак, приют художников, в северном предместье города, Гузман размышлял, как бы выйти из создавшегося положения. «Может, дверь откроет она, – говорил он себе, – и тогда я отдам ей пакет и уйду. А если откроет он, то наверняка меня не узнает. Ведь прошло уже столько лет, и я тогда был совсем крохой. Ясное дело, он не поймет, кто я такой, а я заберу плату и уйду, словно ничего и не случилось. И каждый пойдет своей дорогой».

Он подошел к двухэтажному особняку с необычным мавританским орнаментом по фасаду, поднялся до площадки второго этажа и постучал в зеленую дверь. Ему открыл седовласый человек с нечесаной бородой. На нем была домашняя куртка. Он курил.

Едва увидев Гузмана, он застыл на месте. Ему понадобилась доля секунды, чтобы его узнать. Так они и простояли друг напротив друга с полминуты. Потом старший произнес:

– Входи, мой мальчик.

Гузман вошел и очутился в маленькой двухкомнатной квартире, где царил неописуемый беспорядок. На угольной печке в оловянной кастрюльке варилось яйцо. В углу возле неубранной кровати виднелись ночной горшок и эмалированный жестяной кувшин. Повсюду валялась разбросанная одежда и стояли полные окурков пепельницы.

Седовласый прошел вперед и освободил пару стульев от лежавших на них книг.

– Садись.

Гузман, все еще держа в руках сверток с платьем, уселся напротив отца.

– А ты вырос. Сколько тебе лет?

– Двенадцать, – ответил мальчик, не подавая виду, что взволнован.

– Хорошо, – изрек седовласый, явно не зная, что говорить дальше.

Потом оперся обеими руками на колени и на миг застыл в неподвижности, уставившись в пустоту.

– Видишь ли... твоя мать... Тебе может показаться, что я поступил с ней жестоко, но на самом деле я спас ей жизнь.

Входя в апартаменты, Гузман огляделся вокруг и вдруг понял одну вещь. Никакой другой женщины в жизни его отца нет. И никогда не было.

– Вдумайся: твоя мать ничуть не состарилась. Я ей этого не позволил. Ведь ей приходилось конкурировать с воображаемой соперницей, которая всегда была красивее и моложе ее. Чтобы выдерживать конкуренцию, она была вынуждена ежедневно за собой ухаживать, а не запускать себя, как поступают те, кто уже достиг цели.

– Какой цели?

– Обладания другим человеком.

Но Гузману все-таки пока не удавалось ухватить суть разговора.

– Видишь ли, сынок, я с самой первой встречи любил твою мать, я желал ее, как не желал ничего в мире. И она в конце концов сдалась. Мы поженились, пообещав друг другу вечную любовь.

Он рассмеялся:

– Ты, наверное, думаешь, ну что за глупость? Разве любовь можно пообещать, да еще и приплести бесконечность...

Он снова стал серьезен и пристально посмотрел на сына:

– Я обладал ею, и она обладала мной. Но это вовсе не значит, что мы друг другу принадлежали. Скорее, наоборот. В браке мы просто договорились о взаимном обладании. Потому я и сбежал. Я обеспечил ей мотив все время меня желать. А себе – все время желать ее.

Гузман смотрел на отца, и первым его впечатлением было: этот человек очень устал.

Жалкое существование, на которое он себя обрек, теперь получило объяснение. Он сделал выбор: обнищал, чтобы спасти то, во что верил. Модные платья, украшения и дорогие духи, которыми он баловал свою воображаемую возлюбленную, были единственным способом поддержать иллюзию. Потому что, кроме иллюзии, у него ничего не оставалось.

Он положил руку Гузману на плечо:

– Желание – единственный мотив, заставляющий нас двигаться вперед во всем этом ужасе. Мы все нуждаемся в страсти, в наваждении, в идее фикс. Ищи свою. Желай ее сильно-сильно. И сделай так, чтобы смыслом твоей жизни была сама жизнь.

Эта неожиданная проповедь выбила Гузмана из колеи. Было такое ощущение, что отец уже давно приготовил эту речь. Словно ждал, когда сын придет. И эта мысль очень облегчала мальчику боль оттого, что его бросили.

– А как я узнаю, настоящая или нет моя страсть, моя одержимость? – спросил наконец младший Гузман своего отца.

– Если ты поведаешь о ней кому-нибудь и этому человеку будет интересно, то знай, что ты жил не напрасно. Запомни, сынок: вкус вещам придают истории.

Тут старший Гузман встал и, повернувшись к сыну спиной, принялся рыться в ящичке трюмо. Вернулся он, держа в руке английскую булавку, на которую был наколот окурочек сигареты, слишком короткий, чтобы держать его двумя пальцами и при этом курить.

– Ты курил когда-нибудь?

Гузман отрицательно тряхнул головой.

Отец присел рядом с ним и приготовился чиркнуть огнивом над почерневшим кончиком окурка. Но сначала пояснил:

– Марсель основали греческие мореплаватели, ты об этом знал? Так вот, последняя представительница этого древнего племени живет в порту. Это одноногая проститутка по имени Афродита...

Он поднял глаза к небу:

– Если бы ты только знал, как она хороша собой и как ее желают все мужчины... Им бы бежать в ужасе от ее уродства, но как раз благодаря уродству она, должно быть, и наловчилась быть лучшей из всех любовниц, которых они имели в жизни.

Он улыбнулся, чиркнул огнивом и обернул кончик окурка кусочком бумаги.

– Это окурочек из пепельницы в ее доме. Давай, смелее, и скажи мне, чем он пахнет?

Младший Гузман взял английскую булавку двумя пальцами, поднес сигарету к губам и затянулся, сильно закашлявшись с непривычки.

– Еще разок, – подбодрил его отец.

И он затянулся еще раз, слегка прикрыв глаза. И вдруг в памяти возникли все запахи женского белья, которые он вдыхал в прачечной Мадам Ли. Теперь запахи обрели вкус, ибо этот табак имел вкус и запах женщины, роскоши и борделя.

– Пахнет... ею.

Гузман вытаращил глаза, словно сделал важное открытие. Отец не удержался и рассмеялся. А сын выглядел растерянным.

– Я и не думаю над тобой смеяться, – уверил отец. – У меня просто не было другого способа, чтобы тебе объяснить... Это был окурок с мола. Его бросил какой-то рыбак, пристав к берегу. Но достаточно было рассказать тебе историю про Афродиту, и ты ощутил тот вкус и запах, которыми твое сердце пожелало его наделить. Нашими чувствами командует сердце, сынок.

Он ласково потрепал сына по волосам:

– А теперь, когда ты знаешь правду, затянись еще разок и скажи, чем отдает.

Гузман затянулся.

– Рыбой...

Якоб Руман поймал себя на том, что внимательно смотрит на свою сигарету. Он даже позабыл, что табак в ней был смешан с опилками.

Из темноты раздался смех пленного.

– Отлично, доктор, я вижу, вы начинаете кое-что понимать. – Тон его голоса вдруг сделался манящим: – Бьюсь об заклад, что теперь вам захочется узнать, что же было дальше.

К десяти часам вечера Якоб Руман вдруг заметил, что кофе закончился. И весь его выпил он сам, потому что пленный только курил. В общей сложности они выкурили по пять сигарет.

– Наверное, ни к чему говорить, что первый раз, когда Гузман закурил, стал последним, когда он видел своего отца.

– Значит, его родители так никогда больше и не встретились? – разочарованно спросил доктор.

– Не знаю. Гузман закончил свой рассказ на том же, на чем и я. Он вообще всегда обрывал рассказ, когда угасал огонек сигареты, которую курил.

Якоб Руман был озадачен. На какой-то миг здравый смысл взял верх, и это ощущение ему не понравилось.

– Нездоровая одержимость матери, мыльный дождь в Марселе, Мадам Ли, сбежавший отец... Вам не кажется, что все это как-то уж очень чересчур?

– Так в этом-то и прелесть. Когда Гузман рассказывал свои истории, он всегда балансировал на тонкой грани. Никогда нельзя было понять, где кончается истина и начинается легенда. Можно было прочесть весь рассказ, фразу за фразой, слово за словом, чтобы докопаться до чего-то достоверного, но это мало вдохновляло. А можно было допустить, что все так и есть, как рассказано. Можно было оставаться скептическим сторонним наблюдателем, который из гордости не желает поверить очарованию. А можно всем сердцем окунуться в историю, как ребенок, и сразу почувствовать себя ее участником.

Такая перспектива утешила Якоба Румана относительно собственного рационализма. Он, конечно же, принадлежал ко второй категории.

– Помню, как внимательно мой друг Гузман пробовал все найденные на молу окурки, совсем скуренные и крупные, как накалывал их на английские булавки. И каждый сохранял короткий и сильный привкус чужих губ. Он говорил, что окурки напоминают ему об отце.

Якоб Руман хотел узнать еще больше, ибо в нем проснулось вдруг необъяснимое любопытство. Ведь, в конце концов, он так и не получил ответа на три вопроса, с которых начался рассказ. *Кто такой Гузман? Кто я? Кто был человек, куривший на «Титанике»?*

Особенно влек его к себе последний вопрос. Он заглянул в табакерку. Похоже, скоро табака совсем не останется. Но в этой ситуации возможность курить была непременным условием продолжения истории. У него возникло ощущение, что табак сам по себе, помимо необычной атмосферы, поддерживал энергию и механизм рассказа. Он решил уже откланяться и сходить за очередной порцией табака, но тут в дверях возник сержант и произнес свою ритуальную фразу:

– Доктор, вы очень нужны.

На этот раз голос его был суров.

За свою медицинскую практику Якоб Руман научился определять эту модуляцию в голосе, как умел распознать сердечную аритмию по изменению ритма дыхания. А потому он встал и пошел за сержантом, не задавая вопросов.

Речь шла об унтер-офицере. Якоб Руман не удивился. Он этого ожидал со дня на день. На этот раз – не боевое ранение, а воспаление легких.

Ему удавалось поддерживать в больном жизнь теплыми припарками на спину и грудь и окуриваниями парами камфорного масла. Но он понимал, что это всего лишь паллиативы. В последнее время больному стало хуже, он дышал со все большим трудом.

Доктор бережно положил ему руку на лоб, словно от этого прикосновения лоб мог рассыпаться на куски. Он буквально обжигал. Лихорадка быстро пожирала больного, как огонь пожирает солому.

– Он умирает, – произнес сержант, который принадлежал к людям, которым мало простого впечатления, им обязательно надо облечь впечатление в материю слов.

Якоб Руман не ответил. Однако на самом деле его мучил вопрос, готов ли этот мальчик уйти, успел ли он *сделать так, чтобы смыслом его жизни стала сама жизнь*, как говорил пленный, передавая слова отца Гузмана?

Унтер-офицера разместили в дальнем конце траншеи. Однополчане решили, что земляная насыпь лучше защитит от ветра, который всюю хлестал по горам. Но Якоб Руман, как, впрочем, и все остальные, прекрасно понимал, что это лишь предлог. На самом деле, мало кто мог вынести вид умирающего: ведь ему суждена смерть не от выстрела неприятеля, а от врага, который и стрелять-то не умеет, – от болезни или от заразы. Сравнение не в его пользу...

В тяжелом дыхании больного уже начал проявляться хрип, возвещающий, что недалеки его последние минуты.

И в этот момент появился майор, а с ним адъютант. Сохраняя обычное выражение лица, как на параде, он прошел мимо умирающего солдата, не обратив на него ни малейшего внимания, и повернулся к военврачу:

– Вы провели в пещере с пленным более двух часов. Вам удалось его разговорить, а значит я был прав! – кичливо заявил он.

– У нас действительно состоялся диалог, но я не знаю, каков будет результат, – признал Якоб Руман, стараясь не перечить.

– Не впадайте в излишнюю болтовню, доктор, – упрекнул майор. – У нас нет времени на вольности.

– Время есть. Если не ошибаюсь, до рассвета? Вы ведь так изволили выразиться? Других сроков вы мне не давали.

Военврач заупряился, чего раньше никогда себе не позволял. Теперь, когда ему удалось пробить брешь в упорном молчании пленного, он почувствовал, что может позволить себе по-иному разговаривать со старшим по званию. По крайней мере, до завтра. Потому что Якоб Руман вовсе не был уверен, что ему удастся выведать имя и звание итальянца. Конечно, тот дал ему слово. Зато теперь он постоянно задает себе вопрос, почему это пленный выбрал именно его, чтобы поведать свою историю.

– Заставьте его говорить, – отчеканил майор. – Вся ответственность на вас. И если я обнаружу, что вы с пленным на дружеской ноге, я...

Это была уже угроза.

И тут разговор прервал умирающий, который что-то сказал. Все пристально на него

посмотрели, но никто ничего не понял. Майор собрался продолжить разговор.

– Подождите, – оборвал его Якоб Руман.

Тот, похоже, разозлился в ответ на повелительный тон, но врач не обратил на это внимания и склонился над больным, поднеся ухо к самым его губам.

[Купить полную версию книги](#)

notes

Оксюморон – стилистическая фигура, состоящая в соединении двух противоречащих друг другу понятий, логически исключаящих одно другое. – *Здесь и далее примеч. перев.*

Папиросные или сигаретные гильзы используют те, кто покупает натуральный табак или выращивает его сам. Гильза представляет собой папиросу или сигарету с пустым резервуаром для табака. Табак набивают в гильзу специальным приспособлением, похожим на маленький шомпол.

Деонтология – раздел этики, занимающийся проблемой долга как проявления формы социальной необходимости. В медицинской практике так называют профессиональную этику медиков, необходимую при применении приемов психотерапии для повышения эффективности лечения.